

Евгений Белодубровский  
Вечер у Льва Толстого

*(из записок литературного старателя)*

---

Несколько слов — сначала.

Где-то в середине 1970-х годов по инициативе академика Д. С. Лихачёва Научным советом по истории мировой культуры Академии наук СССР было основано ежегодное издание под названием «Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология». Особенность этого принципиально нового научного сборника заключалась и в том, что Дмитрий Сергеевич (главный редактор издания) включил в раздел «Письменность» и личные библиотеки выдающихся деятелей отечественной науки и культуры, хранящие в своей памяти («среди книг») также немало исторических тайн, открытий и личных судеб.

В числе первых подобного рода личных библиотек Дмитрий Сергеевич назвал обширную библиотеку Николая Николаевича Страхова (1828—1896), ближайшего друга Федора Достоевского, Льва Толстого и Владимира Соловьёва, выдающегося русского религиозного философа-идеалиста, литературного критика, публициста и мистика (достаточно напомнить, что именно Страхов был первым, кто пустил в литературный быт слово «нигилист», которое небрежно, не ведая, что творит, подхватил сибарит Тургенев, окрестив сим термином беднягу Базарова, а вслед за ним и целую разбойную эпоху чернышевских последышей, безбожников, народников, «евноазефов» и «матерьялистов»). В 1897 году, по личному завещанию философа эта библиотека целиком была передана в полном объеме в книжный фонд Научной библиотеки им. А. Горького Санкт-Петербургского университета

(«alma mater» Н. Н. Страхова). К работе над описанием библиотеки Страхова Редакция привлекла известного ленинградского ученого — библиографа Сергея Владимировича Белова (самого на тот момент авторитетного исследователя творчества Федора Михайловича Достоевского и его окружения). А тот, в свою очередь, пригласил к этой работе (на правах — соавтора) и меня в ту пору молодого и «подающего надежды» члена Ленинградского «Общества Библиофилов». Причем, мне была поручена самая интересная и самая ответственная часть работы: общение с книгами Н. Н. Страхова что называется: «de visu» (пользуюсь случаем еще раз, заново, по прошествии стольких лет поблагодарить тогдашнего заведующего отделом редких книг и рукописей университетской библиотеки профессора А. Х. Горфункеля, не без тревоги допустившего меня к «святая-святым»).

Д. С. Лихачев был прав: библиотека петербургского философа — универсанта Н. Н. Страхова и по своему т. н. «списочному составу» и по сохранившимся «следам» работы почти с каждой книгой ее владельца, оригинального мыслителя и книгочая действительно оказалось подлинной сокровищницей культуры и науки, то есть тем, что древние называли «неотчуждаемой ценностью»... Более того, вся русская часть библиотеки состояла из книг, оттисков и статей, подаренных (или — поднесенных) некогда авторами лично Н. Н. Страхову с их автографами, дарственными надписями, вклейками и тому подобными печатными и рукописными мемориальными текстами... Кто только не дарил Страхову свои «труды и вирши»; кому только не мечталось вызнать его авторитетное мнение, заполучить именно его отзыв, рецензию или «приговор» — от, скажем, К. Победоносцева, доктора В. Боткина, цензора Е. Феокистова, П. Боборыкина, митрополита Филарета, Афанасия Фета — до молодого Бальмонта, Игнатия Потапенко или Леонида Андреева?

Естественно, что среди книг, особо прирученных Страховым, то есть зачитанных, прочитанных им, что называется, с карандашом и чернилами, наибольшую ценность представляли книги и другие труды русских философов то бишь —

его современников и коллег по так называемому «философическому цеху».

Но наша нынешняя речь — иная, ибо одна всего книга из описываемой богатейшей научной библиотеки Николая Николаевича Страхова и довольно простенькая ее судьба, словно «нить Ариадны», привели меня к весьма скромному, но — открытию...

Речь идет о тонюсенькой зеленоватой книжке — брошюре «Н. Н. Страхов. К характеристике его философского миросозерцания» (Москва, цензурное разрешение 17 апреля 1896)<sup>1</sup>. Поначалу мне показалось странным (и — не совсем обычным), что эта книжка оказалась в личной библиотеке Страхова (то есть, на тех же «философских» полках и с его личным экслибрисом) *после смерти* философа, последовавшей в конце января 1896 года. Складывалось впечатление, что автор этой книжки приехал специально из Москвы в Петербург, поднялся в квартиру Николая Николаевича на Фонтанке (по сохранившимся рассказам современников и друзей, Страхов жил бобылем и все пространство его холодного жилища занимали книжные шкафы) и с непременным трепетом положил (или возложил, как цветок или веточку сирени) эту свою брошюрку — некролог в 40 газетных листков на известное ему в библиотеке — место. Или на рабочий стол Страхова. Так это было или иначе, сейчас уже никто не скажет (может быть, просто кто-то просто передал книгу с поручением осиротевшей прислуге или просто воспользовался оказией или почтой). Но я готов утверждать, что этим «кто-то» был не кто иной, как профессор философии Московского университета Николай Яковлевич Грот (1852—1899), один из ближайших друзей Н. Н. Страхова (в последние годы жизни) его наипервейший последний ученик, сподвижник, собеседник и друг... Это подтверждает и само содержание его книжки — изложение публичной лекции Грота в «Психологическом обществе» в Москве. Несмотря на её краткость и общий вид (бумага, повторяю, газетная,

---

<sup>1</sup> См. электронное воспроизведение оригинала здесь:

<http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=2549>

выцветшая, шриффт — слепой) оказалась, что это лучшее и точное, что было и есть написанного (и по сей день) о Николае Николаевиче Страхове и его оригинальном учении и научных мытарств. В тоже время (помимо оценки творчества Страхова, фактов его биографии, множества просторных цитат из статей Страхова и его писем к Николаю Яковлевичу) пред нами своеобразный лирический монолог, буквально пронизанный глубокой личной (я бы даже сказал — сыновьей, берущей за душу) признательностью Грота к безвременно умершему учителю и другу. Все это тронуло меня невероятно и я (для комментария к статье, да и для себя самого) решился «вызывать» (термин старателя) сколь возможно подробнее о судьбе этих двух разных людей. И прежде всего, что (или кто — персонально) объединял их *духовно* (оставим в стороне «Брокгауза», современные биографические словари и справочники по истории русской философской мысли, пойдём, как говорится «своим путем»...).

Итак! Николай Страхов — гордый отшельник, тайный монах, консерватор, лукавый, грозный и ревнивый критик, антидарвинист, библиоман, чаеман, табакокурец...

Николай Грот — благополучный сын академика, отец семерых детей, реформатор всего и вся в философии, автор полусотни хороших и умных книг, москвич, общественник, лектор, пантеист, редактор. И самый совестливый (болезненно, донельзя), постоянно сомневающийся в себе, человек (тут я оправляю читателя к книге о Николае Яковлевиче Гроте, любовно собранной его учениками после неожиданной смерти Николая Яковлевича в апреле 1899 года).

На мое счастье в Рукописном отделе нашей благословенной Публички сохранились неопубликованные письма Н. Я. Грота к Н. Н. Страхову — целых 35 горячих откровений ученика к ученику с марта 1887 по декабрь 1895 года (тут моя отдельная давняя благодарность Сергею Владимировичу Белову, который узнав «мою надобу» и то, что я всерьёз принялся «ломать копьё», указал мне на наличие этого источника в Публичке, где он тогда служил и — служит до сих пор).

И вот — письма, открывшие истину.

Во-первых, получается, что Колечка Грот чуть ли не с раннего петербургского детства благоговел перед Страховым, близким другом его отца, академика Якова Карловича Грота и часто запросто бывал в их доме на Васильевском острове; что студент — историк Новороссийского университета Николай Грот под влиянием метафизических взглядов Страхова, напроочь несогласный с ними, бросает занятия русской историей в пользу религиозной философии и психологии, и в дальнейшем весьма преуспевает на этом научном поприще, преодолев своего учителя по части мистики и спиритизма в литературе...

И самое главное: основа, фундамент их созидательной дружбы и духовной связи — был Лев Николаевич Толстой (что и следовало доказать!).

Тут нет тайны: о каждом из них в отношении к Великому Льву написано множество страниц, опубликована масса документов и мемуарных вокабул. Все так! Но когда перед вами в этой полузабытой пачке писем Грота Страхову постоянно упоминается Толстой (вот они, золотые россыпи старателя — библиографа и летописца). И не просто называется имя писателя, по ходу дела, а серьезно... Более того, в этих письмах Грот называет Льва Николаевича не иначе как «своим другом», «большим другом» и это звучит отнюдь не фамильярно... «С Львом Николаевичем вижусь часто, он теперь здоров, семья ждет со дня на день прибавления и Лев Николаевич как всегда бывает с мужчинами в это время, находится в некотором беспокойстве и оттого вероятно ничего не пишет» (письмо от 24 января 1888; Софья Андреевна и Лев Николаевич тогда «ждали» сына Ванечку...).

Остается добавить, что у всех троих друзей — было одно общее, одна общая черта, одна, как сказал бы Достоевский «нота» — эта нота *бескорыстие*.

Прошло много лет. Наша с С. В. Беловым статья счастливо появилась в лихачевском «Ежегоднике» и, что называется «имела успех». Но радость моя была невелика: редакция за недостатком места убрала почти весь мой старательский комментарий. И особенно «пострадал» Н. Я. Грот, кроме од-

ной, действительно важной цитаты о будущей судьбе библиотеки Н. Н. Страхова, взятой нами из «той!» книги — брошюры «Памяти Н. Н. Страхова». И как раз именно в комментарии, относительно этой книги Грота, я, коротенько, всего-то одной — двумя строками упомянул, в частности, об одной забытой встрече Николая Яковлевича с Львом Толстым в его хамовническом доме (29 марта 1887г., отсутствующей в знаменитой и самой авторитетной «Летописи жизни и творчестве Л. Н. Толстого», составленной секретарем писателя — Н. Н. Гусевым...

Ни больше — ни меньше!

Тем более что эта встреча, да и весь сюжет, связаны с историей написания, публикацией и дальнейшей судьбой гениального трактата Льва Толстого «О жизни», в создании которого (что давным-давно и доподлинно известно) оба друга Толстого — Николай Яковлевич Грот и Николай Николаевич Страхов приняли самое горячее участие. От мучительного его замысла Толстым (в лето 1886) — до «подпольного» печатного станка (1889) и уничтожения тиража.

Разве не обидно, разве можно смириться?

И тогда мне пришла в голову мысль (сказалась заманчивая честолюбивая претензия молодого человека на «открытие») попытаться восстановить (точнее — реставрировать) картину того самого мартовского вечера 1887 года. И не сухой заметкой для очередного «Толстовского ежегодника» (да еще неизвестно — возьмут или нет) или для краткого сообщения на конференции, а в жанре бытового рассказа (в пределах достоверности и правды момента, допустимой для беллетриста и прозаика). Тем более что у нас под руками имелся добротный источник: академический комментарий к этому произведению Л. Н. Толстого («О жизни и смерти»), составленный в 1936 году для юбилейного «Собрания сочинений и писем» Толстого» (том 26) старшим научным сотрудником Пушкинского Дома Александром Исааковичем Никифоровым «о ту пору» служившим сотрудником «Толстовского музея» в Ленинграде (таковой «имел место быть» до начала войны на одной из Линий Васильевского острова в Ленин-

граде). Перед нами сотня страниц бисерного текста, на которых А. И. Никифоров — блистательный музейщик, археограф и страстный поклонник Льва Толстого — представил подлинную (день за днем, строка за строкой, мысль за мыслью) картину создания этого гениального (с сожалением, смею предположить, труда, ныне несправедливо забытого, затененного «другим Толстым», Толстым — художником), произведения Л. Н. Толстого, включая всю, известную на тот период науке о Толстом личную и семейную переписку Льва Николаевича и весьма просторную мемуаристику.

И так далее.

Так что мне, дорогие мои друзья (взявшись за гуж) ничего не оставалось, как, перечитав от корки до корки комментарий А. И. Никифорова, переиначив на свой лад некоторые бытовые приметы и жесты, пересмотрев репинские портреты и рисунки Льва Толстого, Софьи Андреевны, обитателей хамовнического дома весны — осени 1887 года — такую картинку «написать»...

И дело с концом...

«В один из последних дней марта 1887 года в гостиной московского дома Толстых в Хамовническом переулке до поздней ночи горел свет. Ставили уже третий самовар, но чай в чашках давно остыл, — никто не решался нарушить благоговейную тишину. Вот уже который час Толстой читал присутствующим свою новую статью. Она называлась «О жизни и смерти». Лев Николаевич говорил негромко, но подчеркнуто внятно, стараясь, чтобы слушающие не пропустили ни одного его слова. Софья Андреевна сидела в центре стола и подавала мужу новые страницы рукописи, а Колечка Ге отмечал красным карандашом уже прочитанные листы. Напротив Толстого, облокотившись на спинку стула, стоял главный гость — профессор философии Московского университета Николай Яковлевич Грот. Внимательно слушая Льва Николаевича, он вместе с тем чувствовал, как ему пере-

дается эта духовная тревожная атмосфера дома, где царит светлый гений его большого друга. То, что читал Толстой, было в основном уже давным-давно известно Николаю Яковлевичу, со многим он долго и мучительно не соглашался, отчаянно спорил, отрицал, гневался (и в письмах и прямо в глаза Толстому). Ведь прошло всего лишь две недели с того вечера 14 марта в Московском Психологическом обществе, когда великому Льву Толстому после лекции «О жизни» (организованной Н. Гротом) пришлось отвечать на возражения и сомнения присутствующих... Но в эти мгновенья Грот, слушающая Льва Николаевича, вновь и вновь убеждался, насколько в настоящее время важны эти вопросы жизни и смерти, добра и зла, важны для него самого, лично, прежде других людей, кто желает именно от Толстого узнать, в чем смысл этих двух понятий (смерть и жизнь). Порой Гроту казалось, что Толстой этим чтением заново, настойчиво, вновь и вновь проверял себя.

— «Проходят века, — говорит Лев Николаевич, — люди узнают расстояние до светил, определяют их вес, узнают состав Солнца и звезд, а вопрос о том, как согласить требования личного блага, остается для большинства людей таким же неразрешенным вопросом, каким он был для людей пять тысяч лет назад».

Тут Толстой сделал паузу, лукаво посмотрел на Грота и продолжал, чуть повысив голос:

— «Проходят века, и загадка о благе жизни остается для большинства людей тою же загадкой, а между тем загадка разгадана давным-давно...».

Теперь он уже прямо посмотрел на Грота и, привстав с кресла, неожиданно широко ему и всем за столом торжествующе улыбнулся. В комнате стало светлее, напряжение спало. Только Грот еще крепче сжал спинку стула и громко, словно испугавшись собственного голоса, заговорил чуть в сторону, словно ища чьей-то поддержки:

— «Разгадать загадку жизни разумом невозможно. Вот и всё...».

И тут же, но уже тише, повторил:

— «Это — невозможно, дорогой Лев Николаевич, пойте же, наконец!»

— «Возможно! И только разумом!» — Лев Николаевич, волнуясь, встал, бросив на стол листочки рукописи.

Часы неожиданно резко пробили два часа ночи. Софья Андреевна неслышно придвинула к себе чашку и отпила немного холодного чаю. Она была с утра утомлена перепиской Левочкиной статьи, потом ее чтением «набело», запуталась в ней но, подобно Николаю Яковлевичу и всем живущим в московском доме и в Ясной, ощутила какую-то его, Толстого правоту и сомнение, неправоту и правду, но что тут многое ему уже начинало удаваться, как прежде с начатками будущих романов...

Коля, сын художника и друга Толстого, которого в доме все любовно называли «Колечка» отложил карандаши и приготовился к острому спору Грота с Львом Николаевичем, как это было уже не раз и не два, когда они оказывались вместе за одним столом или — на людях...

— «Отдохни, Левочка, уже вот как поздно, да и Николай Яковлевич устал, ему ведь еще домой на Плющиху топтать, а извозчика не допросишься» — сказала Софья Андреевна. Но Толстой отмахнулся, взял со стола исписанные бумаги и стал продолжать чтение, почти не заглядывая в бумагу, наизусть. Ему было необходимо знать мнение Грота — единственного человека, который искренне стремился понять его, силился, но никак не мог понять до конца и которому он, Толстой, сейчас доверял больше других. Даже больше, чем другу — Страхову который, увлекшись своей метафизикой, кажется, совсем потерял интерес к этим простым земным жизненным вопросам.

— «Человек всегда познает все через разум, а не через веру. Можно было обманывать, утверждать, что он познает через веру, а не через разум; но как только человек узнает две веры и видит людей, исповедующих чужую веру, так же, как свою, так он поставлен в неизбежную необходимость решить дело разумом».

— «Вера — это душа человека, его духовная пища, — перебил Толстого Грот. И вновь повторил «Духовная пища!»

— «Нет! Потому что попытка влить в человека духовное содержание через веру помимо разума, — это все равно, любезный Николай Яковлевич, что попытка питать человека помимо рта».

Казалось, что в гостиной стало светлее.

— «Ну, эдак Вы упрощаете дело, — рассмеялся Николай Яковлевич. И вдруг, резко отодвинув от себя стул, он перекрестился и резко воскликнул, его глаза горели:

— «Так в чем же, по-вашему, Лев Николаевич, разгадка жизни человека? И его неминуемой смерти? Извините меня, в чем, простите...».

— Хорошо! Я отвечу Вам. Дай мне, Сонечка, последние листочки мои, вчерашние, те, не переписанные Тобой».

Софья Андреевна быстро нашла нужные листки из вороха бумаг и протянула их мужу. Сейчас она любовалась им, как давно не было. Она вдруг почувствовала какой-то переворот в его душе, переворот к лучшему, более определенному и скорее — радостному...

— «Ты хочешь, чтобы все жили для тебя, чтобы все любили тебя больше себя? — Толстой читал прямо с листа, то останавливаясь, то снова принимаясь за чтение, то поднимая глаза на словно застывшего Грота, то совсем затихая, читая как бы про себя. — *«Есть только одно положение, при котором желание твое может быть исполнено. Это положение, при котором все существа жили бы для блага других и себя!!! Так-то, Николай Яковлевич, согласитесь, это не трудно, не трудно понять даже Вам... Тогда только ты и все существа любимы были бы всеми, и ты в числе их получил бы то самое благо, которого ты желаешь. Если же благо, возможно и когда все существа любили бы других более себя, то и ты, живое существо, должен любить другие существа более себя».*

— Да, я согласен, — ответил Грот, — жизнь ради других может принести истинную радость, и тогда можно допустить, что уже не страшен призрак смерти. Но смерть, доро-

гой Лев Николаевич, — отнюдь не призрак, а тьма, абсолютная тьма.

Толстой продолжал свою мысль, но Грот почувствовал, что Лев Николаевич расслышал его возражение:

— «И только при этом условии возможны благо и жизнь человека, и только при этом условии уничтожается то, что отравляло жизнь человека, — уничтожаются борьба существ, мучительность страдания и страх смерти».

Грот сделал знак Софье Андреевне, она кашлянула, Толстой отвлекся на миг, строго и вопросительно посмотрел на всех:

«Так для такого человека нет смерти, нет! Так ведь? — воскликнул Колечка из своего угла.

— «Нет, не так! Я продолжу дальше свою мысль, если позволите ... Я думаю так: смерть для человека, Коля, смерть для человека, живущего для других, не могла бы представляться ему уничтожением блага жизни, потому что благо и жизнь других существ не только не уничтожаются жизнью человека, служащего им, но очень часто увеличиваются и усиливаются жертвой жизни!»

Лев Николаевич закончил, сел в свое любимое кресло, потом как-то молодцевато поднялся, налил из самовара в чашку простого холодного кипятка и с удовольствием выпил всю чашку до дна.

— Коля, милый друг, прочти, пожалуйста, Николаю Яковлевичу последнее на этой страничке, а то я совсем голос потеряю, потом Николай Яковлевич будет переживать, себя винить, казнить себя, Страхову напишет, не любит он, когда мне неможется...

— «Жизнь человека есть стремление к благу, и то, к чему он стремится, то и дано ему: жизнь, не могущая быть смертью, и благо, не могущее быть злом. Все!» — громко, с запалом, во весь опор вскричал молодой человек я и тут же принялся от смущенья собирать все листки, ворохом разбросанные по столу и даже по полу.

Пауза вышла торжественная. Софья Андреевна машинально присела на край мужниного кресла: сколько раз она

слышала и читала эти строки и предыдущие... Часто они казались ей сухими, плакатными, общими, выспренними... Но только сейчас, в устах юного Колечки они открылись ей истинными, пророческими...

Грот вышел от Толстых в четвертом часу ночи. Всю дорогу от Хамовников к дому он был в каком-то невероятно возбужденном настроении. Гений Толстого совершенно поразила его. Он вспомнил картину смерти Андрея Болконского, — картину, принадлежащую, быть может, к самым потрясающим страницам всемирной литературы, смерть одухотворенного любовью человека, в которой нет ничего разочаровывающего и страшного. А смерть Ивана Ильича — ужасная смерть человека бесполезного. Написать так просто и так ясно о жизни и смерти, именно о жизни и смерти, после страшной болезни, которую перенес сам Лев Николаевич летом прошлого 1886 года, когда он, помогая бедной вдове убирать сено, сильно ушиб о телегу ногу. Одиннадцать дней Софья Андреевна не отходила от его постели, — боялась, что Лев Николаевич умрет. Он и сам страшно испугался. А совсем недавняя смерть Крамского с кистью в руке. Да, только жизнь ради ближнего, только для ближних, сострадая и помогая слабому ... Накануне, уже в дверях, прощаясь с Гротом, Толстой сказал:

— «Только благодаря Вам, Николай Яковлевич, беседам с Вами я сумел написать то, что Вы сейчас слушали. Благодарю Вас! И прошу принять участие в напечатании этой статьи, надеюсь к концу лета закончить... И не волнуйтесь за меня, мой дорогой сердитый друг. Вот уж сегодня днем мы с Колечкой едем в Ясную, все уже собрано Софьей Андреевной, будем работать там... Все отложу... Вы лучше всех знаете, Николай Яковлевич, как волнует меня этот вопрос, и как важно это знать людям... Да и Софья Андреевна так считает.

Придя домой к себе на Плющиху совсем засветло, Грот, едва скинув пальто, устремился в кабинет, сел за стол и написал разом три письма.

Первое — краткое, в Ясную Поляну Льву Николаевичу, где он писал, что очень благодарен ему за сильное нравственное влияние на него лично и назвал его «твердой опорой» в наших исканиях идеалов... И закончил то письмо Толстому такими словами: «Моя воля делать добро возросла неизмеримо».

В письме своей матушке в Петербург — рассказал подробно о потрясшей его новой встрече с Толстым, которая сильно повлияла на него духовно...

Третье письмо Грота — к другу и учителю, Николаю Николаевичу Страхову в Публичную Библиотеку.

Дата: Москва, 30 марта 1887 г.

«...Глубокоуважаемый Николай Николаевич! Вчера прочел Вашу книжку «О спиритизме». Я уже много слышал о ней от Льва Н. Толстого и Владимира Сергеевича Соловьева и очень ею заинтересовался. Прочитав ее внимательно за один присест, я пришел в восторг. Мы с Вами по духу очень близки, и я во всем с Вами согласен, кроме лишь вопроса о сближении духа и силы: пожалуйста, не церемоньтесь со мною, ибо я настолько люблю истину, что готов выслушать самую горькую правду, не обижаясь нисколько. Я совсем потерял способность обижаться, когда бранят мои взгляды.

**Вчера до 3 часов ночи был у Льва Ник. Толстого. Он нам читал новое прелестное рассуждение о бессмертии. Какая светлая голова и какой глубокий ум. В личной беседе с ним убеждаешься, что все нелепости, приписываемые ему критикой, суть плод недоразумения и непонимания. В духовном общении с ним я находил в эту зиму величайшие радости и такую полноту жизни, которой никогда прежде не испытывал...».**

Как уже сказано выше, это письмо Страхову *написано* (а не отправлено — конверт не сохранился) Гротом 30 марта 1887 года. Эта дата подтверждает, что профессор Николай Яковлевич Грот был в гостях в Хамовниках у Льва Николаевича Толстого и Софьи Андреевны именно 29 марта 1887 года на чтении им своего очерка «О жизни». А также служит еще

одним свидетельством отношения двух закадычных друзей Льва Николаевича Толстого в тревожную пору его жизни.

Так небольшой фрагмент из неопубликованной переписки — единомышленников Льва Толстого, великого писателя и мудреца позволил нам восстановить еще один (всего один!) миг из его творческой и житейской биографии.

Остается добавить, что книга Толстого «О жизни и смерти», после выхода подпольного тиража (изготовленного В. Г. Чертковым в количестве шестисот экземпляров), была запрещена духовной цензурой и уничтожена — уничтожена за то, что «...Толстой в этой книге выставил руководством не слово Божие, а единственно и исключительно человеческий разум».